

По вольному распутью моря  
Когда ж начну я вольный бег?  
(VI, 25—26)

Для лирического героя написанного по приезду в Михайловское стихотворения «К морю», пронизанного байроновскими темами и образами, любовь оказывается выше «поэтического побега» по морским волнам:

Вотще рвалась душа моя:  
Могучей страстью очарован  
У берегов остался я...  
(II, 332)

В заключение заметим, что ушедший из пушкинской поэзии чайльд-гарольдовский мотив добровольного изгнаничества, бегства от света и общества с целью обрести свободу, был дважды едва не реализован Пушкиным в собственной биографии. В январе 1830 года Пушкин пытался уехать на границу Китая (то есть на самую глухую и отдаленную окраину империи) с экспедицией П. Л. Шиллинга фон Канштадта и Н. Я. Бичурина. В 1835 году стремился скрыться на «три или четыре» года «уединенной жизни в деревне» (в 1824 году воспринимавшейся им почти как тюремное заключение). К несчастью, русский поэт мог покинуть столицы лишь с разрешения властей,<sup>17</sup> и в обоих случаях ему было отказано в добровольном изгнаничестве.

<sup>17</sup> См. письма Пушкина к начальнику III Отделения А. Х. Бенкендорфу от 7 января 1830-го и 1 июня 1835 года (XIV, 56; XVI, 31).

DOI: 10.31860/0131-6095-2018-4-25-32

© СТЕФАНО ГАРДЗОНИО (Италия)

## СИЛЬВИО ПЕЛЛИКО В РОССИИ ОТ ПУШКИНА ДО СОЛЖЕНИЦЫНА

В статье, посвященной итальянскому переводу романа Солженицына «В круге первом», известный писатель Манлио Канконьи отмечал: «Мы все в школе читали, что „Мои темницы“ Сильвио Пеллико нанесли Габсбургской монархии больше вреда, чем одно поражение на поле битвы. А мы можем быть полностью уверены, что книга Солженицына, которая рассказывает о гораздо более ужасной форме заключения, ничего не изменит. Не говорю в России, это было бы уже слишком, но даже в западном мире».<sup>1</sup>

Параллель между знаменитой книгой Пеллико и лагерной прозой Солженицына проводилась неоднократно и отражает, как известно, существенный интерес и знакомство с итальянской книгой самого Солженицына.

В «Архипелаге ГУЛАГ» (Ч. IV: «Душа и колючая проволока»), мы встречаем имя итальянского пленника дважды: «Что тюрьма глубоко перерождает человека, известно уже много столетий. Бесчисленны здесь примеры — таких, как Сильвио Пеллико: отсидев 8 лет, он превратился из

<sup>1</sup> *Cancogni M. Il Primo Cerchio*, in *Così parlò Carpendras*. Roma, 2013. Статья появилась впервые на страницах журнала «La Fiera Letteraria» (1 августа 1968 года). Здесь и далее перевод с итальянского, кроме особо оговоренных случаев, мой. — С. Г.

яростного карбонария в смиренного католика. У нас всегда вспоминают Достоевского. А Писарев? Что осталось от его революционности после Петропавловки? Можно спорить, хорошо ли это для революции, но всегда эти изменения идут в сторону углубления души. (...) Об этих душевных изменениях узников писалось достаточно, это поднялось уже на уровень теории тюремоведения. Вот, например, в дореволюционном „Тюремном вестнике” пишет Лучинский: „Тьма делает человека более чувствительным к свету; невольная бездеятельность возбуждает в нем жажду жизни, движения, работы; тишина заставляет глубоко вдуматься в свое «я», в окружающие условия, в свое прошлое, настоящее и подумать о будущем”.

И чуть ниже: «И пословица говорит: „Воля портит, неволя учит”».

Но Пеллико и Лучинский писали о *тюрьме*. Но Достоевский требовал наказаний — тюремных. Но неволя учит — какая?

*Лагерь* ли?..

Тут задумаешься.

Конечно, по сравнению с тюрьмой, наш лагерь ядовит и вреден.

Конечно, не о душах наших думали, когда вспучивали Архипелаг. Но все-таки: неужели же в лагере безнадежно устоять?

И больше того: неужели в лагере нельзя возвыситься душой?»<sup>2</sup>

Жорж Нива в своей работе о Солженицыне отметил: «Солженицын не первый, кто писал по-русски о тюрьме, и не единственный, кто это делал в близкие к нам времена. Он продолжает древнюю традицию — вместе с Достоевским, Сильвио Пеллико и самим апостолом Павлом. От своих современников Солженицын отличается абсолютным неприятием тюремного устройства, которое у Шаламова или Синявского начинает определять не только внешний, но и внутренний мир — большую и малую зоны, если употребить эзковский жаргон, — и в конце концов властно вторгается в мрачный мир Зиновьева, не познавшего ГУЛАГа на собственной шкуре. В самой сердцевине своего тюремного опыта Солженицын обнаружил не черноту абсурда, но проблески смысла. Там окончательно выковался его характер, там зазвучал его призывный голос, клеймящий и Восток и Запад. Тюрьма для него не навязчивая метастаза, разъедающая тело века, но „первая любовь”, место рождения свободы. Пророк нового „поста”, самоограничения в масштабах человечества, Солженицын стал изгнанником, как и другие великие пророки в истории».<sup>3</sup>

В той же перспективе определяет соотношение Солженицына с Пеллико А. М. Панченко, который пишет: «Неволя определяет и тематику, и, так сказать, методологию творчества, в чем всякий может убедиться при чтении писателей-узников: Кампанеллы, Максима Грека, протопопы Аввакума, Сильвио Пеллико, Варлама Шаламова, Солженицына — и Л. Н. Гумилева. Узникам не возбраняется вспоминать, тосковать, надеяться и размышлять — о себе и близких, о друзьях и врагах, а также о высоких материях. Не возбранялось это и Л. Н. Гумилеву; он сочинял стихи, а также по силе возможности обдумывал первую свою книгу — „Хунну” (она вышла в свет в 1960 году) — и даже писал ее, когда его освободили от общих работ. Л. Н. Гумилев — долголетний узник, он судьбою был обречен либо на художественное творчество, либо на отвлеченности. Попробовав то и другое, он сосредоточился на отвлеченностях. Теперь ясно, что он сделал правильный выбор...».<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. Части III—IV // Солженицын А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 2010. Т. 5. С. 487—488.

<sup>3</sup> Нива Ж. Солженицын. М., 1992. С. 93.

<sup>4</sup> Панченко А. М. Учение Л. Н. Гумилева и современность // Материалы Международной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Л. Н. Гумилева. СПб., 2002. Т. 1.

А у критика русского зарубежья мы читаем: «Автор же словно на момент хочет нам показать, что с жизнью обычного человека, из нормальной семьи портного, сделал сталинский и революционный режим, когда описывает тюремщика Наделашина. Величаво проста и прекрасна книга Сильвио Пеллико „Мои тюрьмы“. Пушкин назвал его „кротким страдальцем и человеком благоволения“, удивляясь его любви, кротости и доброжелательности. Но разве и тюрьмы и тюремщики, описанные Сильвио Пеллико, напоминают нам МГБ? Описан и милосердный тюремщик, никаких издевательских показух нет и в помине. Жизнь в основе спокойная, без особой трепки нервов. В заключении в Шпильберге он мог компоновать литературное произведение. Тюрьма, камера, один-два тюремщика. Какая разница, какое огромное полотно развернуто Солженицыным! Нечто грозное не только для настоящего, для сегодняшнего, но и в будущем».<sup>5</sup>

Как мы видим, Пеллико и Солженицын включены как бы в одну традицию и, в то же время, противопоставлены другому подходу к тюрьме и ее моральному истолкованию. Конечно, интерес к Пеллико и к его тюремной прозе имеет в России долгую традицию и восходит к Пушкину. От этой традиции стоит теперь отправиться, чтобы лучше определить позицию самого Солженицына.

Знаменитую книгу Пеллико предложил перевести и печатать в России еще в 1833 году М. П. Погодин. Об этом пишет в своей знаменитой биографии Погодина Н. П. Барсуков.<sup>6</sup> Здесь же указано, что Погодин предложил перевести книгу Пеллико М. С. Мухановой, малоизвестной писательнице, автору «Записок». Переводчица пользовалась французским изданием книги Пеллико и сама признавалась, что в ее переводе «осталось много галлицизмов». Перевод яростно раскритиковал С. П. Шевырев, который, среди прочего, утверждал: «Помилуй, что ты делаешь? Переводить Сильвио Пеллико через детей. Вчера Мельгунов, Павлов и целое собрание на тебя за это вооружилось <...> Это не детская книга. Это *chef d'oeuvre* итальянской словесности. Это книга Евангельская. Это легенда святого страдальца».<sup>7</sup>

Итак, перевод Мухановой не был издан. В те же годы, пока в Москве обсуждается перевод «Моих темниц», в Одессе вышел перевод другой книги С. Пеллико «О должностях человека». Книга была переведена с итальянского оригинала. Интересно отметить, что сам Пеллико узнал об этом переводе и хвалил его автора Н. Хрусталева.<sup>8</sup>

В 1836 году вышло в Москве русское издание «Моих темниц» под названием «Записки Сильвио Пеллико Салуцкого». Перевод принадлежал некому актеру Баранову и был сделан с французского переложения итальянского оригинала. В том же году книга «Мои темницы» вышла в Петербурге в переводе Е. Серчевского, тоже с французского. В 1837 году в столице появился новый перевод «Об обязанностях человека». Перевел книгу с итальянского С. Н. Дирин.

Переводчик был чиновником при департаменте Государственного казначейства и помогал родственникам декабристов в переписке с ними.<sup>9</sup> Он осведомлял Пушкина о положении «его друзей» в Сибири: «Уверен, что вы с удовольствием узнаете кое-какие новости о Вильгельме, почему и посылаю вам эти письма, недавно полученные из Сибири. Русское письмо — от его брата Михаила, и заставит вас рассмеяться на второй странице. Немецкое

<sup>5</sup> Плетнев Р. А. И. Солженицын. Париж, 1973. С. 109.

<sup>6</sup> Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1891. Т. 4. С. 143.

<sup>7</sup> Там же. С. 143—144.

<sup>8</sup> Kauchtschischwili N. Silvio Pellico e la Russia. Milano, 1963. P. 25.

<sup>9</sup> О нем см.: Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1988. С. 139—140.

письмо — от него самого и доставит вам удовольствие, если вам удастся расшифровать его. Не могу вам оставить ни одного, ни другого на более долгий срок, чем сколько вам понадобится, чтобы их прочитать, ибо я похитил их тайком у матери, чтобы переслать вам».<sup>10</sup>

Скорее всего, именно судьба декабристов могла вызвать у Дирина интерес к жизни и творчеству Пеллико.

В апреле 1835 года Пеллико посетил в Турине П. А. Вяземский. Интерес к Пеллико у Вяземского возбудил А. И. Тургенев, который посещал Италию в 1832—1834 годах, прочел известную статью о Пеллико во французском журнале «*Journal des Débats*» и в июне 1833 года послал другу книгу Пеллико в итальянском оригинале. В письме он подчеркивал «сильный христианский дух автора».<sup>11</sup>

Именно Тургеневу, по-видимому, удалось переслать экземпляр книги Пеллико декабристу С. П. Трубецкому.<sup>12</sup>

Интересно отметить, что о Дирине и Пеллико упоминает в своих «Литературных воспоминаниях» И. И. Панаев, когда он пишет о Пушкине: «Я и не смел думать о знакомстве с Пушкиным, да и какое право имел я на знакомство с ним? Я только завидовал моему приятелю Дирину, который познакомился с ним по случаю своего отдаленного родства с Вильгельмом Кюхельбекером. Родные Дирина получали через III отделение письма от ссыльного Кюхельбекера, в которых всегда почти упоминалось о Пушкине, и Дирин носил обыкновенно эти письма показывать Пушкину. Дирин занимался тогда переводом книжки Сильвио Пеллико „Об обязанностях человека” и сообщил об этом Пушкину, который одобрил его мысль и обещал ему даже написать предисловие к его переводу».<sup>13</sup>

Рецензия Пушкина «Об обязанностях человека. Сочинение Сильвио Пеллико» появилась в 1836 году.<sup>14</sup> В ней Пушкин сравнивает книгу с Евангелием и о самом Пеллико отмечает, что «мало было избранных (даже между первоначальными пастырями церкви), которые бы в своих творениях приблизились кротостию духа, сладостию красноречия и младенческого простотою сердца к проповеди небесного учителя».<sup>15</sup> Пушкин выделяет в книге «Мои темницы» «умилительные размышления, исполненные ясного спокойствия, любви и доброжелательства», в то время, как «книга „*Dei doveri*” устыдила нас, и разрешила тайну прекрасной души, тайну человека-христианина».<sup>16</sup>

О восприятии Пеллико Пушкиным писал Вяземский: «Посмотрите, с каким глубоким уважением Пушкин упоминает о книге Сильвио Пеллико, как верно и умирительно характеризует он ее в нескольких строках. Между тем взгляд Пушкина на жизнь — не взгляд Сильвио Пеллико. По-видимому, в них мало духовных соотношений и родства. Но Пушкин, как всякий избранный, питал сочувствие ко всему прекрасному, искреннему, возвы-

<sup>10</sup> Дирин С. Н. Письмо А. С. Пушкину. Конец августа — начало сентября 1836 г. Петербург // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1949. Т. 16. С. 160, 391 (оригинал на французском языке).

<sup>11</sup> Архив братьев Тургеневых. Пг., 1921. Т. 6. С. 226.

<sup>12</sup> См.: *Kauchtschischwili N. Silvio Pellico e la Russia*. P. 30—31.

<sup>13</sup> Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1988. С. 66. В примечаниях к тексту Панаева отмечается: «Перевод Дирина „Об обязанностях человека, наставление юноше”, с эпиграфом „Правда бо бессмертна есть”, напечатан в 1836 г. Пушкин, вместо обещанного предисловия, напечатал в третьем номере своего „Современника” краткий взгляд на сочинения Сильвио Пеллико, и Дирин перепечатал этот отзыв в вступлении к своему переводу» (Там же).

<sup>14</sup> Современник. 1836. Т. 3. С. 307—310; Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 99—100.

<sup>15</sup> Там же. С. 99.

<sup>16</sup> Там же. С. 99—100.

шенному. Он в данное время постигал его даже и тут, где не был единомышленником».<sup>17</sup>

В то же время интересно отметить, как экземпляры книг Пеллико могли бы быть пересланы декабристам в Сибирь. Вообще параллель «Пеллико—декабристы» стала само-разумеющейся.

Интерес русских писателей к творчеству Пеллико подтверждает визит к нему В. А. Жуковского. Русский поэт в составе свиты цесаревича Александра Николаевича, будущего императора Александра II, встретил итальянского писателя несколько раз в течение трехдневного пребывания в Турине в феврале 1839 года. Так, он писал И. И. Козлову: «Я познакомился с Сильвио Пеллико. C'est l'homme de son livre. Лучшая похвала, какую только можно сделать ему».<sup>18</sup>

О Пеллико в русской литературе неоднократно писал крымский исследователь П. В. Михед. Недавно он подчеркнул значение итальянского карбонария для Н. В. Гоголя. Он пишет: «Еще один факт духовной жизни Европы привлек внимание Гоголя. Это судьба и произведения Сильвио Пеллико. Гоголь чрезвычайно внимательно читал книги Пеллико „Мои темницы“ (1832) и „Об обязанностях человека“ (1834). Привлекала его и история жизни писателя — итальянского карбонария и журналиста, осужденного к смерти и проведшего десять лет в заключении после помилования (...) Гоголь, внимательно изучивший авторскую стратегию Пеллико, в „Выбранных местах“ сделал попытку творчески использовать художественные приемы, обеспечившие, как он полагал, апеллятивную эффективность творений итальянца: это, во-первых, жанровый потенциал исповеди и, во-вторых, действенный пафос проповеди. В свое время С. Шамбинаго в „Трилогии романтизма“ (1911) указал на переклички произведений Пеллико и Гоголя, впервые обозначив связь „Выбранных мест“ и „Об обязанностях человека“. В двух первых частях книги „Выбранных мест“ («Предисловии» и «Завещании») Гоголь представил своеобразную исповедь, призванную придать вес авторскому слову и проповеди в остальных частях книги. Устройство жизни на основаниях христианской морали, своеобразный христианский фундаментализм объединяет произведения Гоголя и Пеллико. Оба автора излагают христианский сюжет и конструируют одну из типических моделей поведения христианина: заблуждение-прозрение-исповедь-проповедь.

Подобная модель была представлена в дилогии Сильвио Пеллико. Почти через полвека Лев Толстой пронизательно увидит ее типологическое схождение с гоголевской ситуацией:

„...В жизни всякого человека и сильного и слабого, и большого и малого, неминуемо есть детская чистота, соблазн и покаяние. Каждому человеку в той жизни приходится отстать от берега чистоты и коротко ли, долго ли переплыть через реку соблазнов и выбраться на берег спасения истинной жизни. Со всеми это было и будет. Это же самое и было с Гоголем за несколько лет до его смерти”».<sup>19</sup>

О значении Пеллико для духовной настроенности Гоголя написал потом Георгий Флоровский в своих знаменитых «Путь русского богословия»:

<sup>17</sup> Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 181.

<sup>18</sup> Жуковский В. А. Соч. 7-е изд. СПб., 1878. Т. 6. С. 477. Пер.: «Это человек из собственной книги» (фр.).

<sup>19</sup> Михед П. В. Гоголь и западноевропейская христианская мысль (проблемы изучения) // Toronto Slavic Quarterly. 2010. № 31. См.: <http://sites.utoronto.ca/tsq/31/mikhed31.shtml> (дата обращения 31.07.2018). См. также: Михед П. В. 1) Сильвио Пеллико и русская литература (опыт интерпретации) // Вопросы русской литературы: Межвуз. науч. сб. Симферополь, 1996. Вып. 2 (59). С. 3—18; 2) «Из лоно скорби к утешению...» (Сильвио Пеллико в творческой судьбе Н. В. Гоголя) // Сквозь призму барокко. Киев, 2002. С. 132—142.

«Весьма вероятно, что Гоголь читал в Риме книгу Сильвио Пеллико „Об обязанностях человека” (*Dei doveri degli Uomini*), — она была отмечена сочувственно и в русских журналах (вышла в 1836 г.). Для Гоголя этого было уже достаточно. Своей гениальной впечатлительностью он схватывал намеки на лету, и творил из них сладостную легенду, ибо был поэт».<sup>20</sup>

Итак, книги Пеллико и, в частности, «Мои темницы», стали общим достоянием русской литературы и русской духовной традиции. Жанр тюремной прозы обязательно должен был соотноситься с евангельской книгой Пеллико.

Данное обстоятельство проанализировала И. П. Володина в своей статье «Достоевский и итальянская литература XIX — начала XX в.». Здесь, среди прочего, читается: «Творчество Достоевского привлекло внимание и итальянских криминалистов — Ферри, Гарофало, Поцци и др., принадлежавших к позитивной школе уголовного права и изучавших преступника как человека определенного душевного склада. Они особенно высоко ценили „Записки из Мертвого дома”. Сравнивая Достоевского с Сильвио Пеллико, Ферри отмечал, что, оказавшись на каторге, русский писатель наблюдал и описывал не собственные переживания, как сделал Пеллико в „Моих темницах”, а создал правдивое изображение преступного мира: „Эта книга представляет для антрополога-криминалиста драгоценный сборник человеческих документов о преступных типах. Сама форма произведения, его стиль, медленный ход рассказа, повороты, частые отступления свидетельствуют об абсолютной достоверности и точности автора”. Преступные персонажи Достоевского, по словам Ферри, подтверждают вывод об однообразии главных психологических и физических черт преступников, который делает криминальная антропология, рассматривающая преступника как антропологический тип, мало зависящий от расовых и национальных различий. Ферри и Гарофало утверждали, что в „Записках из Мертвого дома” Достоевский показал типы преступников, с которыми они сами сталкивались неоднократно в итальянских тюрьмах и которые описал, например, Ч. Ломброзо в своей книге „Преступный человек”».<sup>21</sup>

Мнение Ферри близко к суждениям о знаменитой книге Достоевского А. Ф. Кони: «После „Бедных людей” талант его, как это встречается у многих писателей, стал как будто постепенно слабеть, гаснуть и, под влиянием материальной нужды, грозить разменяться на мелкую монету вынужденного заработка. Но пребывание в „Мертвом доме” не озлобило его, не убило для жизни и не заставило возгордиться, доведя, как это бывало у некоторых, до самолюбования. Он вернулся из каторги примиренным с жизнью, просветленный пониманием смысла и значения последней. В душе надломленных, но не обезличенных товарищей по острогу и даже в самых закоренелых злодеях он сумел найти признаки человечности. Ему было дано проникновенно затронуть роковые и противоположные вопросы тяжкого отсутствия уединения и насильственного одиночества. Любовь к страждущим и сострадание к людям стали затем господствующей и несмолкающей нотой в его творчестве. В его „Мертвом доме” далекая, туманная и малоизвестная сибирская каторга встала в живых образах и со всеми своими сторонами, не превзойденная никакими последующими описаниями, хотя бы и очень талантливыми. Как бледны и односторонни наряду с „Мертвым домом” прославленные страницы „Моих темниц” Сильвио Пеллико и какой верой в

<sup>20</sup> Флоровский Г., *прот.* Пути русского богословия. М., 2009. С. 335.

<sup>21</sup> Володина И. П. Достоевский и итальянская литература XIX — начала XX в. // Достоевский в зарубежных литературах. Л., 1978. С. 10.

лучшие свойства человека веет от дышащих правдой заметок и наблюдений Достоевского, сделанных им в русской „Città dolente”!»<sup>22</sup>

В самом деле, Достоевский преодолел особую, романтическую модель тюремной прозы и предопределил формы лагерной прозы XX века. Но рассмотрим еще некоторые примеры интереса русских авторов к Пеллико.

Об авторе «Моих темниц» пишет и Лев Толстой в трактате «О жизни» (1886, опубл. 1888): «То же, что я еще не различаю в каждом из этих существ его особенного отношения к миру, не доказывает того, чтобы его не было, а только то, что то особенное отношение к миру, которое составляет жизнь одного отдельного паука, удалено от того отношения к миру, в котором нахожусь я, и что потому я еще не понял его, как понял Сильвио Пеллико своего отдельного паука».<sup>23</sup>

Толстой высоко ценил Пеллико. В 1887 году он предлагал В. Г. Черткову издать в «Посреднике» «Мои темницы». Позднее в «Круге чтения» помещено рассуждение о «жалости» к животным, «как Сильвио Пеллико к пауку»: «„Но если надо жалеть овец и кроликов, то надо жалеть и волков и крыс”, говорят враги вегетарианства. — Мы и жалеем их и стараемся жалеть их, отвечают вегетарианцы, и отыскиваем против наносимого ими вреда средства помимо убийства, и средства эти находятя. Если же вы говорите то же о насекомых, то мы хотя не испытываем к ним непосредственной жалости (Лихтенберг говорит, что жалость наша к животным прямо пропорциональна их величине), но думаем, что можно испытывать и к ним жалость (как Сильвио Пеллико к пауку), и против них могут быть найдены средства помимо убийства».<sup>24</sup>

Толстой имеет в виду знаменитую XXVI главу «Моих темниц»: «Vedendo sì di rado creature umane, diedi retta ad alcune formiche che venivano sulla mia finestra, le cibai sontuosamente, quelle andarono a chiamare un esercito di compagne, e la finestra fu piena di siffatti animali. Diedi parimente retta ad un bel ragno che tappezzava una delle mie pareti. Cibai questo con moscerini e zanzare, e mi si amicò, sino a venirmi sul letto e sulla mano e prendere la preda dalle mie dita».<sup>25</sup>

Итак, как мы видим, творчество Пеллико остается в центре внимания русских авторов в течение всего XIX века. С одной стороны, им пронизаны многочисленные религиозно-философские размышления русских писателей, с другой стороны, оно вдохновляет тюремную прозу как жанр.

Данная традиция продолжается и на стыке веков. Приведу как пример книгу В. Н. Фигнер «Запечатленный труд». В предисловии ко второму тому Фигнер пишет о своей книге: «Но если она и говорит о прошлом и не вносит ничего в практическую жизнь настоящей революционной минуты, то, во всяком случае, наступит время, когда она будет нужна. Если не воскресают мертвые, то книги воскресают. Разве „Мои темницы” Сильвио Пеллико, книга Де Костера „Уленшпигель”, которую зовут библией Нидерландов, не живут для нас, хотя написаны одна сто лет назад, а другая описывает события борьбы XVI столетия?»<sup>26</sup>

<sup>22</sup> Кони А. Ф. Статьи и воспоминания о писателях. М., 2014. С. 63.

<sup>23</sup> Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 26. С. 405.

<sup>24</sup> Там же. Т. 42. С. 306.

<sup>25</sup> «Видя так редко людей, я занялся муравьями, которые появлялись на моем окне, роскошно кормил их; эти уже призывали с собой целое войско товарищей, и окно кишело этими насекомыми. Я занялся также красивым пауком, который сплел паутину на одной из моих стен. Кормил я его мушками и комарами, и он так подружился со мной, что спускался на кровать и на руку и брал добычу с моего пальца» (пер. Е. А. Гариной).

<sup>26</sup> Фигнер В. Полн. собр. соч.: В 7 т. 2-е изд. М., 1932. Т. 2. С. 6.

Уже будучи в эмиграции, о Пеллико писал Марк Слоним при посещении тюрьмы Шпильберга. Его слова подчеркивают ценность свободы и верность идеалу: «И памятник, и мраморные доски, и комната, где хранятся портреты, документы, кувшин Пеллико и доски его ложа — все это было создано теперь, когда пришло и чешское возрождение и когда твердыня австрийского владычества превратилась в исторический музей».<sup>27</sup>

Теперь возникает вопрос, каково соотношение личного примера и творчества Пеллико с лагерной литературой, которая, безусловно, отличается от традиционной, романтической тюремной литературы. До какой степени лагерная литература может представлять те же политические и моральные стремления, которыми наполнена традиционная тюремная проза?

Очень пронизательно отмечает Ж. Нива: «Поэт-романтик не только охотно воспевае заключенного, но и отождествляет свой творческий процесс с жизнью в заточении. В последней главе своей работы Виктор Бромберт очерчивает воображаемый мир лагеря. Это мир диффузный, рассеянный, его никак не схватить, не определить. Это уже не кристаллизация человеческого „я“, а его распад. На смену мрачному замку Шпильберг, в котором томился Сильвио Пеллико, пришла зона, унылый ряд лагерных барakov... Воображаемый мир тюрьмы и воображаемый мир лагеря имеют диаметрально противоположные функции. В каком-то смысле первый обостряет, а второй убивает основы человеческой личности — природу, религию, мысль о другом. Современная русская „концентрационная“ словесность вырастает из двух этих миров. (...) Выражение „*anus mundi*“ находим в освенцимском дневнике доктора Кремера: „5.IX.1942. Сегодня после обеда ассистировал при особой процедуре для узниц женских лагерей (эти лагеря — самое ужасное, что я когда-либо видел). Доктор Тило был прав, когда говорил мне сегодня утром, что мы — в анусе мира“. Нацистский лагерь был задуман как *anus mundi*, свалка, выгребная яма человечества».<sup>28</sup>

Получается, что в новую литературу, в новую действительность пример евангельской кротости Пеллико уже не вписывается. Но так ли это? Или, напротив, лагерная проза Солженицына в отличие от других образцов данного жанра еще придерживается морального евангельского идеала? Если думать об итальянской литературе, сразу же возникает вопрос о соотношении книги Пеллико со знаменитой книгой о нацистском лагере Примо Леви «*Se questo è un uomo*» («Человек ли это?»). Итальянский критик Дж. Калачюра, анализируя недавно книгу арабского писателя Мостафа Калифа «Ракovina», поставил ее в один ряд с произведениями Пеллико и Солженицына и с творчеством Кафки.<sup>29</sup>

Вот какой интересный ряд возникает при сопоставлении имен Пеллико и Солженицына.

<sup>27</sup> Слоним М. По золотой тропе. Париж, 1928. С. 98.

<sup>28</sup> Нива Ж. Возвращение в Европу. Статьи о русской литературе. М., 1999. С. 133.

<sup>29</sup> Calaciura G. Pellico, Solzhenitsyn, Primo Levi... // Il Sole 24 Ore. 2014. 25 Maggio.